

В. Таршин

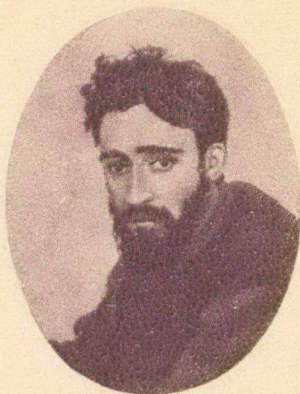


Сигнал

ДЕТГИЗ 1943

Г-21

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. ГАРШИН

СИГНАЛ

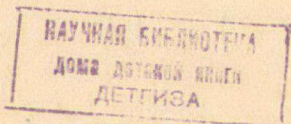
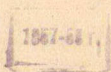
РИСУНКИ
ПЕТРА ПАВЛИНОВА

Государственное Издательство Детской Литературы
НКП РСФСР
Москва 1943 Ленинград

СОДЕРЖАНИЕ

Сигнал	3
Лягушка-путешественница. <i>Сказка</i>	20
Медведи	31

15494.



ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ответственный редактор В. Гакина
Подписано к печати 9/VII 1943 г. 34, печ. л. (1,85 уч.-изд. л.). 21 806 зн. в печ. л.
Тираж 50 000 экз. Л40:98. Заказ № 3477. Цена 80 к.

Фабрика детской книги Детгиз Наркомпроса РСФСР, Москва, Суворовский вал, 49.

СИГНАЛ

Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой — десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за леса ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.

Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз, случилось и под пулями бывать, да, слава богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку — турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза

носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают, страшно Семену, плачет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой — отец, старик, помер; сынишка был по четвертому году — тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен попрежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит, начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.

— Ты Иванов? — говорит.

— Так точно, ваше благородие, я самый и есть.

— Ты как сюда попал?

Рассказал ему Семен: так, мол, и так.

— Куда ж теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как так, дурак, не можешь знать?

— Так точно, ваше благородие, потому податься некуда. Работы какой, ваше благородие, искать надобно.

Посмотрел на него начальник станции, подумал и говорит:

— Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя жена?

— Так точно, ваше благородие, женат! Жена в городе Курске, у купца в услужении находится.

— Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка очистится, уж попрошу за тебя начальника дистанции.

— Много благодарен, ваше благородие, — ответил Семен.

Остался он на станции. Помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через неделю приехала жена, и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров — сколько хочешь; огород маленький от прежних сторожей остался и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.

Дали ему весь нужный припас: флаг зеле-

ный, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ — гайки подвинчивать, лом, лопату, метел, болтов, костылей, дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.

Дело было летом; работа не тяжелая, снегу отгрести не надо, да и поезда на той дороге редки. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного мастера просит, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женой даже скучать.

Прошло времени месяца два, стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; всё сменить его собирались, едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый.

Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посредине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.

— Доброго, — говорит, — здоровья, сосед.

Сосед поглядел на него сбоку.

— Здравствуй, — говорит.

Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собой встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.

— Что это, — говорит, — у тебя, молодница, муж неразговорчивый?

Помолчала баба, потом говорит:

— Да о чем ему с тобой разговаривать? У всякого свое... Иди себе с богом.

Однако, прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою, и про поход рассказывал.

— Немало, — говорит, — я горя на своем веку принял, а веку моего не бог весть сколько. Не дал бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.

А Василий Степаныч трубку об рельс выколоти́л, встал и говорит:

— Не талан-судьба нам с тобой век заедает,

а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.

— Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.

— К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность — жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус отхватить, да слопать.

Задумался Семен.

— Не знаю, — говорит, — брат. Может, оно так, а коли и так, так уже есть на то от бога положение.

— А коли так, — говорит Василий, — так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.

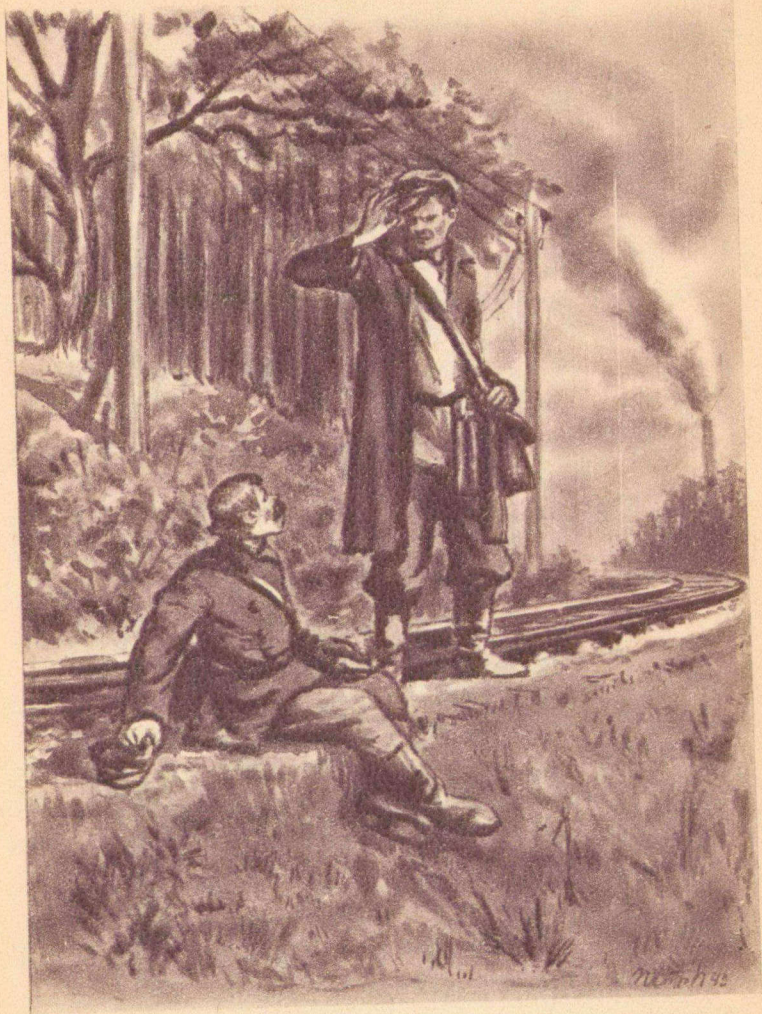
Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.

— Сосед, — кричит, — за что же ругаешься?

Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:

— Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.

Однако, не поссорились они; встретились



опять и попрежнему разговаривать стали, и всё о том же.

— Э, брат, кабы не люди... не сидели бы мы с тобой в будках этих, — говорит Василий.

— Что же в будке... ничего, жить можно...

— Жить можно, жить можно... Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало увидел. Бедному человеку в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь — выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалования получаешь?

— Да маловато, Василий Степаныч. Двенадцать рублей.

— А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полуторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит... Да не останусь я здесь долго; уйду, куда глаза глядят.

— Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра

добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница...

— Землицы! Посмотрел бы ты на землю мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал: «Этò, говорит, что такое? Почему без доношения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось... «Три рубля штрафа!..»

Помолчал Василий, потянул трубочку и говорит тихо:

— Немного еще, зашиб бы я его до смерти.

— Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.

— Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожа! Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрит!

И точно пожаловался.

Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господ важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом всё надо было в порядок привести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочку подсыпать. Соседка-сторожиха и старика своего выгнала травку подчищать. Ра-

ботал Семен целую неделю; все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семеновой будке; подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось.

— Ты давно здесь? — спрашивает начальник.

— Со второго мая, ваше благородие.

— Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто?

Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:

— Василий Спиридов.

— Спиридов, Спиридов... А, это тот самый, что в прошлом году был у вас на замечании?

— Он самый и есть-с.

— Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридова. Трогай.

Налегли рабочие на рукояти; пошла дрезина в ход.

Смотрит Семен на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».

Часа через два пошел он в обход. Видит, из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто

что белое виднеется. Стал Семен присматриваться — Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.

— Сосед, куда собрался? — кричит Семен.

Подошел Василий совсем близко: лица на нем нету, белый, как мел, глаза дикие; говорить начал — голос обрывается.

— В город, — говорит, — в Москву... в правление.

— В правление... Вот что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василий Степаныч, забудь...

— Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил. Пока жив, не забуду, не оставлю так!

Взял его за руку Семен.

— Оставь, Степаныч, верно тебе говорю: лучше не сделаешь.

— Чего там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.

— Да ты скажи, с чего все пошло-то?

— Да с чего... Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; все как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать: «Тут, говорит, правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать!»

Тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне... а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот омыл себе лицо и пошел.

— Как же будка-то?

— Жена осталась. Не прозевает, да ну их совсем и с дорогой ихней!

Встал Василий, собрался.

— Прощай, Иваныч, не знаю, найду ли управу себе.

— Неужто пешком пойдешь?

— На станции на товарный попрошусь; завтра в Москве буду.

Простились соседи, ушел Василий и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсем, поджидая мужа. На третий день проехала ревизия. Паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку; лицо от слез пухлое, глаза красные.

— Вернулся муж? — спрашивает.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.

Научился Семен когда-то, еще мальчишкой, из тальника дудки делать. Выжжет таловой

палке сердце, дырки, где надо, высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делал он в досужее время дудок много и с знакомым товарным кондуктором в город на базар отправляя; давали ему там за штуку по две копейки. На третий день после ревизии оставил он дома жену вечерний шестичасовой поезд встретить, а сам взял ножик и в лес пошел, палок себе нарезать. Дошел он до конца своего участка, — на этом месте путь круто поворачивал, — спустился с насыпи и пошел лесом под гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнейшие кусты для его дудок росли. Нарезал он палок целый пук и пошел домой. Идет лесом; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, как птицы чиликают да валежник под ногами хрустит. Прошел Семен немного еще, скоро и полотно; и чудится ему, что-то еще слышно: будто где-то железо о железо позвякивает. Пошел Семен скорей. Ремонту в то время на их участке не было. «Что бы это значило?» — думает. Выходит он на опушку — перед ним железнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотне, человек сидит на корточках, что-то делает; стал подыматься Семен потихоньку к нему: думал, гайки кто воровать пришел. Смотрит — и человек поднялся, в руках у него лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторо-

ну! Потемнело у Семена в глазах; крикнуть хочет — не может. Видит он Василия, бежит вверх бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится.

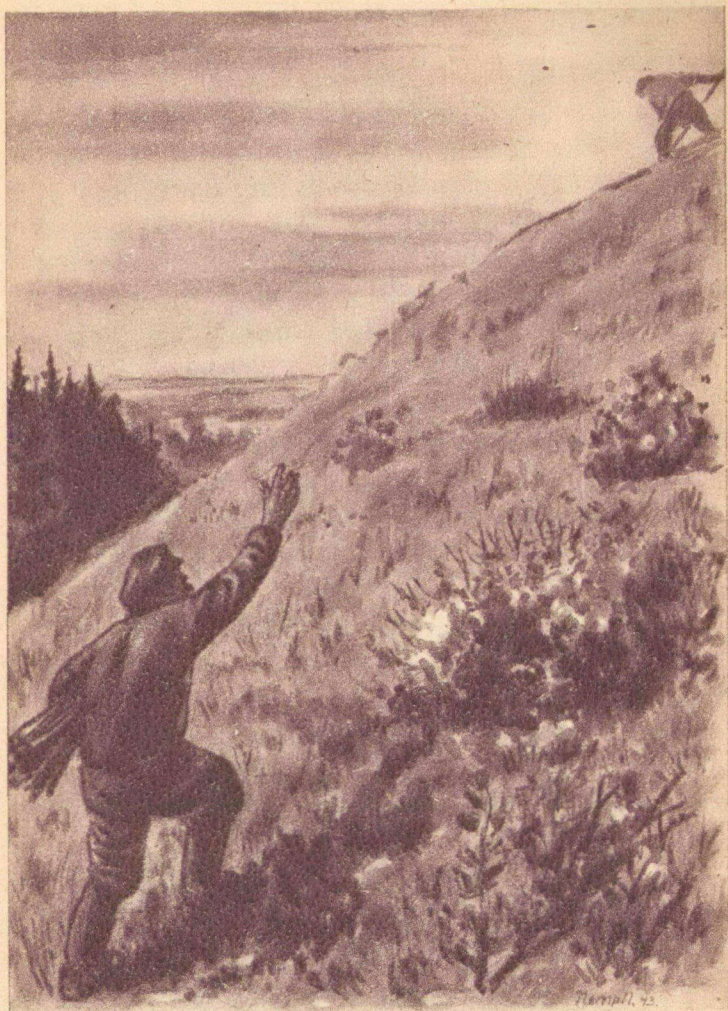
— Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.

Не обернулся Василий, в лес ушел.

Стоит Семен над отвороченным рельсом; палки свои выронил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит, — вот-вот упадет. Выбежал из лесу — до будки сто сажен, не больше, осталось, слышит — на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собой Семен: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится, пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-то вниз одиннадцать сажен, а там в третьем классе народу битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи,

15494.



Портрет, 42.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТСИЗА

вразуми ты меня!.. Нет, до будки добежать и назад во-время вернуться не успеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженьях во ста. Тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился: господи, благослови!

Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочил он в ней свой платок, расправил, растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженьях не остановить тяжелого поезда.

А кровь все льет и льет; прижимает Семен рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове; в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах

звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума; одна мысль в голове: «Не устою, упаду, уроню флаг; пройдет поезд через меня... помоги, господи, пошли смену...»

И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.

Выскочили из вагонов люди, сбились толпой. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти, другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.

Обвел Василий всех глазами, опустил голову.

— Вяжите меня, — говорит, — я рельс отворотил.

ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

СКАЗКА

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, — конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым, мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслаждение жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают — на

это есть весна. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют или, лучше сказать, посвистывают; фью-фью-фью-фью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно: так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь еще далеко, надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Уж холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки, — осмелилась сказать лягушка, — что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. — Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять



минут, — сказала лягушка, — я сейчас вернусь, я наверное придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крикали, а я не квакала, и все будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захвати-



ло дух от страшной высоты, на которую ее под-
няли; кроме того, утки летели неровно и
дергали прутик; бедная квакушка болталась в
воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи
стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться
и не шлепнуться на землю. Однако, она скоро
привыкла к своему положению и даже начала
осматриваться. Под нею быстро проносились
поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем,
было очень трудно рассматривать, потому что,
вися на прутике, она смотрела назад и немного
вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась,
и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала», думала
она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней
парой, кричали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягуш-
ка, — говорили они. — Даже между утками ма-
ло таких найдется.

Она едва удерживалась, чтобы не поблаго-
дарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она
свалится с страшной высоты, еще крепче стис-
нула челюсти и решила терпеть. Она болта-
лась таким образом целый день; несшие ее утки
переменялись на лету, ловко подхватывая пру-
тик; это было очень страшно: не раз лягушка
чуть было не квакнула от страха, но нужно
было иметь присутствие духа, и она его имела.

Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите, — кричали дети в одной деревне, — утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите, — кричали в другой деревне взрослые, — вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите, — кричали в третьей

деревне, — экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут уж лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! я! я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как



она побывала на прекрасном юге, где так, так хорошо, где такие прекрасные, теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, — сказала она. — Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

МЕДВЕДИ

На степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединенных протоками; все сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент.

Этот высокий берег подымается над уровнем Рохли сажен на пятьдесят и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хватаясь за кусты бересклета, березы и орешника, густо покрывающих склон.

Оттуда, сверху, открывается вид верст на сорок кругом. Направо, к югу, и налево, на север, тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы

меловыми вершинами и скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля.

Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самую кручею. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. Сам город не представляет собою ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города.

В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках, у ворот, в домах, происходили шумные разговоры.

Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад.

Внизу тихо текла река, а за нею расстился выгон, на который и было устремлено общее внимание.

Он пестрел, как огромный ковер из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, мно-

жество повозок, толпа пестрого народа: темные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи; яркие желтые и красные одежды женщин; толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган.

Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день.

На высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжелые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рев десятков приведенных из нескольких уездов цыганских поильцев и кормильцев — ручных медведей.

С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне.

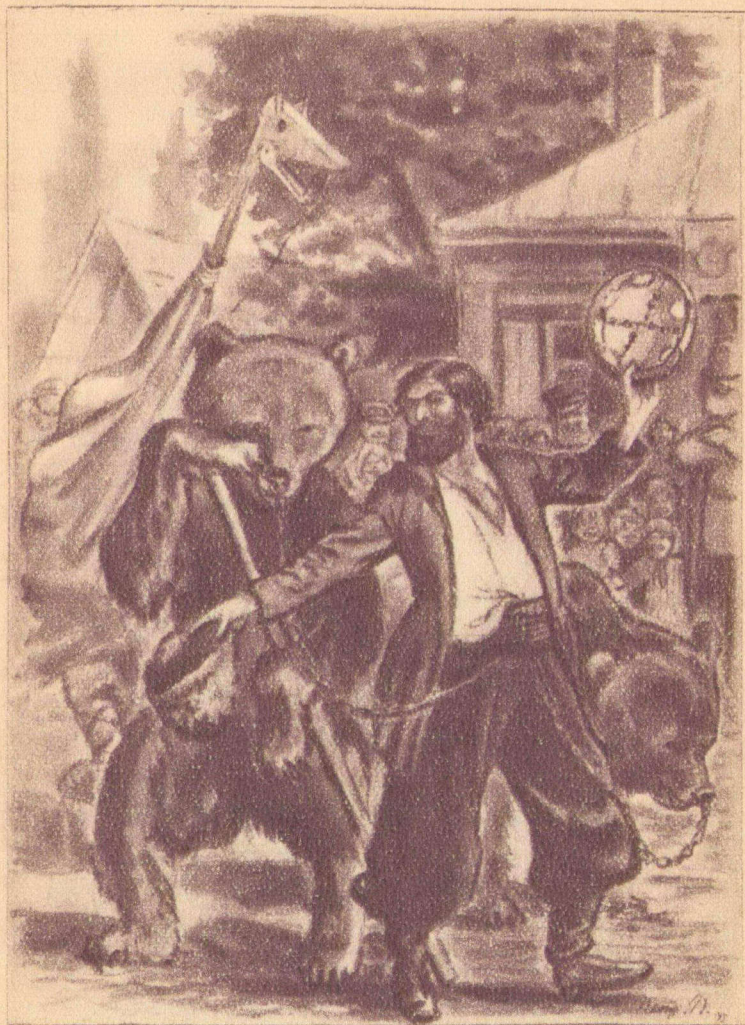
Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на городском выгоне уже недели две; начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано пять лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истек; цыгане должны были явиться в назначенные для

сбора пункты и сами перебить своих кормильцев.

Они в последний раз совершали свой поход по деревням с знаменитой козой и ее барабанщиком, непременными спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девочек бежала к ним за версту навстречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество.

Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом, и начиналось представление, лечение, торговля и мена, гаданье, ковка лошадей и починка телег. И чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа.

Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодлица и как старая



баба; в последний раз они получали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удовольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов.

Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к Бельску двухверстным спуском. Завидев издали место своего несчастья, этот городок, с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть, — кто знает? — поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей. А сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые вozy.

У ворот бельского исправника собралось несколько стариков-цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы¹ с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном²

¹ Бешмет — род верхней одежды.

² Галун — блестящая тесьма.

по воротнику, плисовые¹ шаровары, большие сапоги, у некоторых с расшитыми и прорезанными узором голенищами, и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торжественных случаях.

— Спит? — спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган выходившего из двора городского, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске.

— Встаёт, одевается. Сейчас позовут вас, — отвечал городской.

Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар; все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках.

— Ничего не будет, — сказал он наконец. — Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют.

— Попробуем, Иван, может как-нибудь... — ответил другой старик.

— Попробовать можно, — отвечал уныло Иван. — Только и денежки он наши возьмет и ничем не поможет.

Их позвали к исправнику.

Они вошли толпою в переднюю, и тогда к ним вышел усатый человек в расстегнутом по-

¹ Плисовый — бархатный.

лицейском мундире, из-под которого была видна красная рубашка. Старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги. Многие плакали.

— Ваше высокоблагородие, — говорил Иван, — сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи — жили мы смирно, никого не обижали... Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют; да, ваше высокоблагородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет? По миру должны мы итти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдет. И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и нам и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете; бог вам за это пошлет, господин добрый!

Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его.

— Не возьму, — мрачно сказал исправник. — Ничего не могу сделать.

— Да вы бы взяли, ваше высокоблагородие, — раздалось в толпе. — Может, что-нибудь... Вы бы написали.

— Не возьму, — громче прежнего сказал исправник. — Не за что. Ничего нельзя. Это закон... Вам пять лет льготы было дано... Что уж тут делать?..

И он развел руками.

Старики молчали. Исправник продолжал:

— Я сам знаю, какая это беда и вам и нам. Теперь только смотри за лошадьми; да что ж я могу поделаться? Ты, дед, спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями — не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги пригодятся.

— Ваше высокоблагородие, — сказал Иван, все держа бумажник в руках, — дозвоьте еще слово выговорить. Позвольте завтра... (его голос задрожал) — позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришел со своими, прожились вовсе.

— Еще одной партии, старик, нет; надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо разом.

— Да пришли уже, ваше высокоблагородие: как мы к вам пошли — с горы спускались. Сде-

лай такую милость, господин! не томи ты нас.

— Ну, если пришли, так завтра, часов в десять я к вам приеду. Ружья у вас есть?

— Есть ружья, да не у всех.

— Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С богом! Жаль мне вас, очень жаль.

Старики пошли к двери, но исправник окликнул их:

— Пойдите, эй, вы! Вот я вам что скажу: вы пойдите завтра к аптекарю, Фоме Фомичу, — знаете аптеку, подле собора? — пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас все сало медвежье скупит: ему оно в мазь пойдет. И шкуры, может быть. Хорошую цену даст; не пропадать же им так, в самом деле.

Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца; почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил все сало по четырнадцать копеек, а о шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачев, надеясь сделать хорошую аферу, сторговал все медвежьи окорока по пятаку за фунт.

Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на

луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел. Все наличные экипажи, одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов, дрожек и линеек были заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями. К десяти часам все уже собрались.

Цыгане потеряли всякую надежду.

В лагере не было больше шума. Женщины забились в шатры вместе с малыми ребятами, чтобы не видеть казни, и только изредка вырывался отчаянный вопль. Мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей.

Исправник с Фомой Фомичем прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны: необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте — все приводило их в возбужденное состояние; они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в черных волосах, и внук с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо привязывали медведя.

Исправник поровнялся с ними.

— Ну, старик, — сказал он, — прикажи ребятам, чтобы начинали.

Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван.

— Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас: девяносто лет через год мне стукнет, а медведей вожу я сызмала. И во всем таборе нету зверя старше моего.

Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и тверже прежнего:

— Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не доживет, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдет он: нам с ним, старикам, от смерти не бегать. Отвяжи его, Вася; не хочу убивать его, как скота, на привязи. Не бойтесь, — сказал он зашумевшей толпе, — не тронет он никого.

Юноша отвязал огромного зверя и отвел немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он

был действительно очень стар; его зубы были желты, шкура порыжелала и вылезла; он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мертвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы¹ заряжаемых винтовок.

— Дайте ружье, — твердо сказал старик.

Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю:

— Убью я тебя сейчас, Потап. Дай боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от кольца гнил, болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем: нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр и смирен был и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя? Твоею работою вся семья моя жива.

¹ Старые ружья и винтовки заряжались с дула. Патрон прикрывали пыжом — пеньковым или шерстяным клубком — и проталкивали в дуло шомполом — прямым длинным прутом.

Ты справил мне две тройки коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше еще сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь.

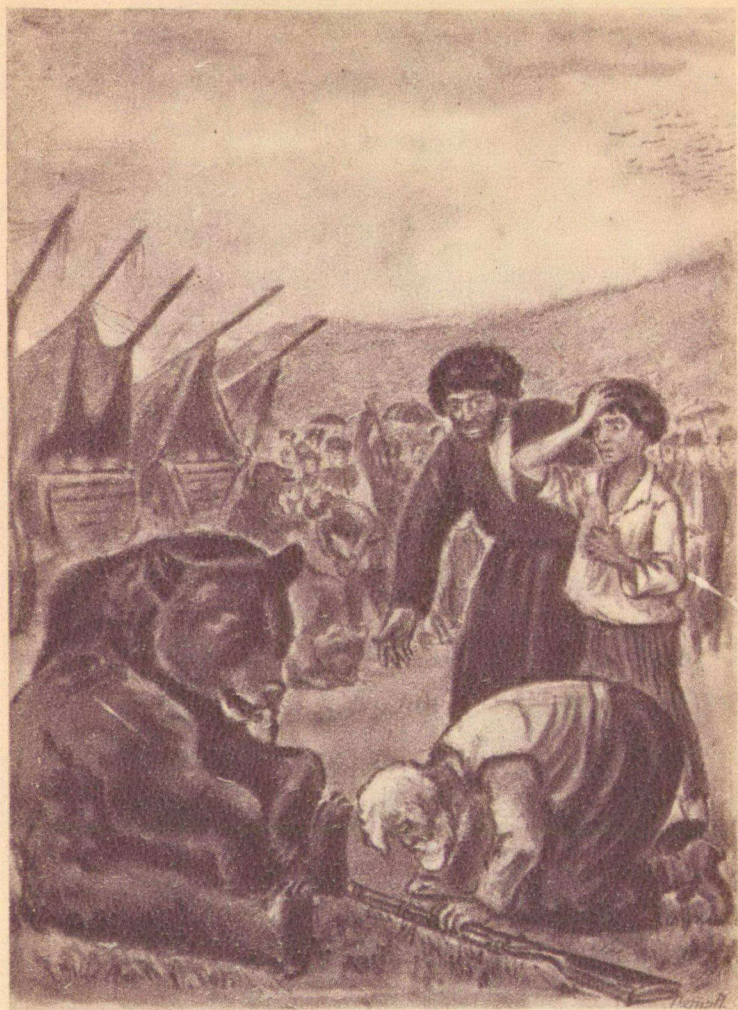
Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.

— Бей, батюшка, — сказал ему сын. — Не рви нам сердце.

Иван поднялся. Слезы больше не текли из его глаз. Он отвел со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твердым и звонким голосом:

— И вот теперь я убить тебя должен... Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть бог на небе рассудит нас с ними.

Он взвел курок и твердой еще рукой прицелился в зверя, в грудь, под левую лапу. И медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный отчаянный рев; он встал на дыбы, подняв передние лапы и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья. Вопль раздался между цыганами; в толпе многие плакали; старик с рыданьем бросил ружье о землю



и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружье.

— Будет! — закричал он диким, иступленным голосом, сверкая глазами. — Довольно! Бей, братцы, один конец!

И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только лапы его судорожно вздрогнули и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Легкий ветер относил дым к реке.

— Сорвался! Сорвался! — раздалось в толпе. Как стадо испуганных овец, все кинулись врассыпную.

Обезумевший от ужаса зверь, не старый еще темнобурый медведь, с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной легкостью; перед ним все расступалось, и он мчался, как ветер, прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшие на улице немногие пешеходы прижимались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались; все живое попряталось; исчезли даже собаки.

Медведь несся мимо собора, по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встречен-

ный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка, гимназии, казармы уездной команды на другой конец города, выбежал на дорогу, на берег реки и остановился. Преследователи отстали, но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках, с ружьями в руках; цыгане и взвод солдат поспедали за ними бегом.

— Вот он, вот он! — закричал исправник. — Жарь, катай его!

Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая водяная мельница, со всех сторон окруженная небольшим, но густым лесом; зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое пространство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть. На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки, а так как они часто ходят

туда спастись от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи¹, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь.

Несчастный забился в самую глубину кустов; рана его от пули, сидевшей у него в ляжке, сильно болела; он свернулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно, оглушенный, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть наугад было трудно.

Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнем. Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась.

¹ Мукосеи — работники на мельнице, которые сеяли (просеивали) муку.

СССР

15494

НАУЧНО-БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

Цена 80 коп.

К